

О. ШПЕНГЛЕР

Пессимизм ли это?

(Ответ моим критикам)¹

Почти всеобщее недоразумение, какое вызывала до сих пор моя книга, есть до известной степени необходимое сопутствующее явление всякого воззрения, которое вторгается в духовный строй данной эпохи не только своими выводами, но уже всем своим методом и прежде всего совершенно новым взглядом на вещи, из которого вырастает и самый метод. Недоразумения умножаются, когда благодаря сцеплению случайностей такая книга делается модной, вследствие чего люди, мысль которых может быть достаточно подготовлена к ее восприятию только временем и целой посредствующей литературой, внезапно видят перед собой учение, которое на первых порах доступно им только со своей отрицательной стороны. При этом большей частью упускали из виду, что в первом томе был дан только фрагмент, на основании которого, как я вскоре убедился, нельзя было с уверенностью судить о целом. В готовящемся к выходу втором томе, посвященном "Морфологии мировой истории", будет дано окончательное завершение, по крайней мере, одного круга вопросов. Другой круг, этический, как внимательные читатели, должно быть, заметили, намечен в книге "Пруссия и социализм". Немало недоразумений вызвало также ошеломляющее заглавие книги, хотя я определенно подчеркнул, что оно было установлено еще задолго до настоящего момента и представляет собой строго объективное обозначение некоторого исторического факта, имеющего параллели среди самых известных явлений истории. Но есть люди которые гибель античного мира смешивают с гибелью океанского парохода. Понятие катастрофы в заглавии книги не содержится. Если вместо "закат" сказать "завершение" - слово, имеющее в устах Гете совершенно определенный смысл, - то элемент "пессимизма" будет исключен, от чего истинный смысл понятия несколько не изменится.

Однако уже в первой своей части книга обращалась к людям действия, а отнюдь не к людям критической мысли. Дать образ мира, с которым можно жить, а не систему, над которой можно умствовать, было подлинной целью моего труда. Тогда я этого не сознавал; тем не менее для обширного круга читателей это исключает возможность полного понимания.

Человек действия живет в вещах и с ними. Ему не нужно доказательств, часто он их даже не понимает. Физиономический такт - одно из слов, почти никем по-настоящему не понятых, - ведет его гораздо глубже, чем мог бы сделать какой-нибудь демонстрирующий метод. То, что я высказал и что научным умам показалось совершенным парадоксом, в глубине души давным-давно чувствовали люди, призванные к действию; часто они этого даже не сознавали. Когда они встречаются "исторический релятивизм" в книге, в теоретической формулировке, они его отвергают, между тем как на практике, при наблюдении людей и положений с непосредственно-практической целью, он разумеется для них сам собой. Созерцатель же внутренне чужд жизни. Он созерцает ее с другого берега и притом с некоторой враждебностью к тому чуждому и противоборствующему, что его смущает всякий раз, когда эта жизнь хочет быть чем-то большим, чем созерцаемый объект. Созерцатели собирают, расчлняют и систематизируют; они требуют доказательств и знают в них толк. Для них такая книга, как моя, навсегда останется заблуждением. Ибо, признаюсь, "философию для философии" я всегда глубоко презирал. Для меня нет ничего более скучного, чем чистая логика, научная

¹ Пг., 1922

психология, всеобщая этика и эстетика. Жизнь не имеет в себе ничего всеобщего и ничего научного. Всякая строка, написанная не для того, чтобы служить практической жизни, кажется мне ненужной. Если бы меня не поняли слишком буквально, я сказал бы: мой способ рассматривать мир относится к систематическому, как мемуары государственного деятеля к идеальному государству утописта. Один пишет о том, что сам переживает, другой - о том, что он измыслил.

Существует, однако, и как раз именно в Германии, особый, так сказать, государственный способ переживать весь мир, естественное и несистематическое восприятие мира, которое может быть выражено только в особом жанре метафизических мемуаров. Необходимо знать, к какой линии принадлежит моя книга, что в связи с великими именами будет суждением отнюдь не о ранге, а исключительно о способе видеть вещи.

Есть в немецкой мысли мощная струя, которая идет от Лейбница через Гете и Гегеля в будущее. Как все немецкое, она была обречена на то, чтобы течь сквозь века незамеченной и словно подземной, в то время как на поверхности мысли даже у этих людей господствовали чужие воззрения. Лейбниц был великим учителем Гете, хотя сам Гете никогда этого не признавал и призывал имя чуждого ему по существу Спинозы всякий раз, когда под влиянием Гердера или просто в силу духовного сродства вводил в круг своих идей какую-нибудь подлинную мысль Лейбница. Для этого последнего особенно характерна постоянная связь с великими событиями его времени. Если из созданного им исключить то, что он писал в связи со своими политическими планами, проектом соединения церквей, мыслями о горном деле, организацией науки и математикой, то останется немного.

Гете походит на него тем, что он всегда мыслил, исходя из вещей и применительно к вещам, т.-е. исторически, и никогда не мог бы воздвигнуть отвлеченную систему. Могучий Гегель был последним, мышление которого, отрывающееся от фактов политической действительности, было еще не совсем задушено абстракциями. Затем явился Ницше, который подпал под власть дарвинизма, но вместе с тем, далеко опередив английско-дарвинистическую эпоху, дал нам всем ту остроту зрения, благодаря которой мы теперь можем доставить победу этому живому направлению мысли.

Так представляются мне теперь те тайные предпосылки, которые неосознанно лежали в основе моего образа мыслей. Здесь нет и в помине какого-нибудь построения из всеобщих положений. Однократно действительное со всей его психологией, не играющее никакой роли у Канта и Шопенгауэра, так же всецело господствует в исторических работах Лейбница, как в созерцании природы Гете и в чтении о всемирной истории Гегеля. Поэтому фактическое находится здесь совсем в другом отношении к мысли, чем у всех систематиков. У последних оно является мертвым материалом, из которого извлекаются законы. У меня это - примеры, освещающие пережитую мысль, которая только в этой форме и может быть выражена. Но такой прием, в виду его ненаучности, предполагает необычную силу понимания. Обычно, как я заметил, читатель за одной мыслью теряет из виду остальные и поэтому неверно понимает все, потому что все здесь так связано в одно целое, что выделение чего-нибудь одного уже равносильно заблуждению. Но нужно уметь читать и между строк. Многое дано только намеком, многое вообще не может быть высказано в научной форме.

В центре стоит идея судьбы. Пробудить ее в читателе так трудно потому, что путем рассудочного размышления обретается только ее противоположность: понятие причинности. Ибо судьба и случай безусловно принадлежат совсем к другому миру, чем познание причины и действия, основания и следствия. Опасность в том, чтобы слово судьба не принять просто за иное обозначение причинного ряда, который имеется налицо, но остается скрытым от нас. Научное мышление никогда не будет в силах понять нас здесь. Способность видеть факты непосредственно переживаемой жизни пропадает, когда начинаешь аналитически размышлять. Судьба есть слово, которое постигается чувством.

Время, тоска, жизнь - эти слова тесно связаны друг с другом. Пусть никто не воображает, что проник в существо моей мысли, пока последний смысл этих слов, как их понимаю я, остается скрытым от него. От судьбы ведет путь к очень трудно уловимому переживанию, которое я называю переживанием глубины. Рассудочному мышлению оно ближе, но только в своем завершенном результате, а не в своем возникновении. Здесь сталкиваются две труднейших проблемы. Что означает слово время? На это нет научного ответа. Что означает слово пространство? Это возможная задача для теоретического размышления. Но с временем связана судьба, а с пространством - причинность. Как же следует мыслить отношение между судьбой и причиной? Ответ на этот вопрос определяет собою переживание глубины, но он неуловим для какого бы то ни было научного опыта и высказывания. Переживание глубины - столь же несомненный, сколь необъяснимый факт. Третьим и весьма трудным понятием является понятие физиономического такта.

Тем, что я разумею под этим словом, в действительности обладает всякий человек. Он живет с ним, он непрестанно применяет его на практике. Даже абстрактный ученый, смехотворность которого зависит от слабого развития этого прирожденного такта, все же обладает им настолько, сколько нужно, чтобы вообще жить. Но здесь мы имеем в виду очень высокую форму развития этого такта, произвольный и бессознательный метод инстинктивного прозрения не в повседневную жизнь, а в ход мировых событий, - метод, которым действительно владеют немногие. Это как раз то, в чем совпадают, несмотря на всю противоположность практики и теории, прирожденный государственный деятель и подлинный историк. Нет сомнения, что этот метод как в истории, так и в действительной жизни является гораздо более важным. Противоположный ему систематический метод служит только для нахождения истин, но факты важнее, чем истины. Весь ход политической, экономической и человеческой истории вообще и течение каждой отдельной жизни покоится на непрерывном применении этого метода людьми, участвующими в этой жизни, - начиная от незначительных, которые служат для истории материалом, и кончая значительными, которые историю творят. По сравнению с этим реальным преимуществом, какое физиономический метод имеет для людей действия и даже для людей мысли в важнейший период их умственного роста, метод систематический, единственно признанный в философии, теряет почти всякое значение во всемирно-историческом масштабе.

Особенность моего учения в том, что оно совершенно сознательно построено на этом методе действительной жизни. Оно получает благодаря этому внутренний порядок, но не превращается в систему.

Меньше всего была понятна мысль, которая, быть может, не совсем удачно, была обозначена словом релятивизм. С релятивизмом в физике, который покоится исключительно на математической противоположности между константой и функцией, он не имеет решительно ничего общего. Пройдут года, прежде чем он будет усвоен настолько, чтобы им можно было действительно жить. Ибо дело здесь идет о решительно-этическом взгляде на мир, в котором развертывается жизнь отдельной личности. Никто не поймет, что означает это слово, если он не уловил идею судьбы. Релятивизм в истории, как я его понимаю, есть одно из выражений судьбы.

Однократность, непоправимость, невозвратимость всего совершающегося есть та форма, в которой судьба является человеку.

Этот релятивизм, на практике или в теории, был известен во все времена. В действительной жизни он настолько разумеется сам собой и определяет облик повседневности так всецело и безусловно, что остается неосознанным и поэтому большей частью весьма убежденно оспаривается в моменты теоретического, т.е. обобщающего размышления. Новой не является эта мысль и сама по себе. Не может быть ни одной действительно новой мысли в наше позднее время. На протяжении всего 19-го века нет ни одной мысли, которая не была бы уже открыта схоластикой, как одна из ее проблем, продумана ею и блестяще формулирована. Но дело в том, что релятивизм есть настолько

непосредственный факт жизни и поэтому так нефилософичен, что в "системах", по крайней мере, его никогда не терпели. Старое крестьянское правило: что годится для одного, не годится для другого, примерно выражает противоположность всякой цеховой философии, которая как раз стремится доказать, что одно и то же годится для всех, - то именно, что данный автор доказал в своей этике. Я совершенно сознательно взял другую сторону, - сторону жизни, а не мысли. Обе наивные точки зрения либо утверждают, что есть нечто обязательное для всех веков, независимо от времени и судьбы, либо отрицают это.

Но то, что релятивизмом называю я, не есть ни то, ни другое. Здесь мною создано нечто новое; я показываю при помощи того опытного факта, что мировая история не есть какой-нибудь единый процесс, а группа, состоящая пока из восьми высоких культур, совершенно самостоятельных, но во всех своих частях однородных по структуре, - что всякий созерцатель, все равно, мыслит ли он для жизни или для мысли, всегда мыслит только как человек своего времени. Этим отводится одно из самых вздорных возражений, сделанных против моей точки зрения: будто релятивизм опровергает сам себя. Ибо оказывается, что для каждой культуры, для каждой из ее эпох и для каждого человеческого типа в пределах этой эпохи существует некоторое, вместе с ним данное и для него необходимое мирозерцание, которое для данного времени имеет в себе нечто абсолютное. Оно только не является таковым для других времен. Для нас, людей сегодняшнего дня, существует необходимое мирозерцание, но оно, разумеется, не то, какое было в гетевское время. Понятия истинного и ложного в данном случае неприменимы. Здесь имеют силу лишь понятия глубокого и плоского. Кто мыслит иначе, тот во всяком случае не может мыслить исторически. Всякое живое воззрение, в том числе и изложенное мною, принадлежит определенному времени. Оно выросло из другого воззрения и со временем снова перейдет в другое. На протяжении всей истории точно так же не существует вечно истинных или вечно ложных учений, как в развитии растения нет истинных и ложных ступеней. Все они необходимы, и о той или другой можно только сказать, что она удалась или не удалась по сравнению с тем, что именно в данном случае требовалось. Но совершенно то же самое можно сказать о любом мировоззрении. Это чувствует даже самый строгий систематик. Он характеризует чужие учения, как своевременные или слишком ранние или устарелые, и тем самым допускает, что понятия истинного и ложного имеют силу только, так сказать, для переднего плана науки, но не для ее живой сущности.

Этим вскрывается различие между фактами и истинами. Факт есть нечто однократное, что было или будет в действительности. Истина есть нечто, что вовсе не нуждается в действительном осуществлении для того, чтобы существовать в качестве возможности. Судьба имеет отношение к фактам, связь причины и действия есть истина. Это известно с давних пор. Не заметили только, что именно поэтому жизнь связана с одними только фактами, только из фактов состоит и только на факты направляется. Истины суть величины мышления, и их значимость имеет место в "царстве мысли". Никто, даже самый далекий от мира систематик, в своей жизни ни на минуту не может обойти этот... факт. Он его и не обходит, но он забывает о нем, как только от жизни переходит к размышлению над ней.

Если я могу притязать на какую-нибудь заслугу, то она заключается в том, что отныне на будущее уже нельзя будет смотреть, как на *tabula rasa*, на которой можно написать все, что заблагорассудится тому или другому. Неограниченное и необузданное "да будет так!" должно уступить место холодному и ясному взгляду, который обзревает возможные и поэтому необходимые факты будущего и на этом основании производит выбор. Первое, что неотвратимым роком стоит перед человеком и чего не может постигнуть никакая мысль и не может изменить никакая воля, есть время и место его рождения: каждый рождается внедренным в какой-нибудь народ, религию, сословие, время, культуру. Но этим уже все сказано. По воле рока такой-то человек родился не

рабом во время Перикла или рыцарем во время крестовых походов, а в рабочем доме или в вилле наших дней. Если что-нибудь может быть названо участью, судьбою, роком, то, конечно, это. История означает, что жизнь вообще непрерывно изменяется; но для каждого отдельного человека она такая, а не другая. Вместе с его рождением дана его природа и круг возможных для него задач, внутри которого имеет свое законное место свобода выбора. На что способна и чего хочет его природа, что допускается и что не допускается условиями его рождения, - этим вокруг каждого очерчен круг счастья или несчастья, величия или низости, трагического или смешного, что всецело наполняет его жизнь и между прочим определяет, имеет ли она какое-нибудь значение в связи с жизнью общей, другими словами, имеет ли она какое-нибудь историческое значение.

И здесь мы имеем перед собой то безусловно новое в моем учении, что наконец должно было быть высказано и введено в жизнь и к чему стремился весь 19-й век: сознательное отношение фаустовского человека к истории. Опять-таки не поняли, почему я так настаиваю на замене новым образом схемы: древность - средневековье - новое время, неудобство которой уже давно стало ощущаться даже рядовыми учеными. Бодрствующий человек всегда живет образом, который определяет все его решения и формирует его духовную жизнь, но действительно освободиться от старого образа он может не раньше, чем овладеет и до конца проникнется новым.

"Исторический взгляд" есть нечто, возможное только для западно-европейского человека, да и для него лишь с сегодняшнего дня; еще Ницше говорил об исторической болезни. Он имел при этом в виду то, что видел тогда повсюду вокруг себя: чуждающуюся жизни романтику литераторов, мечтательное погружение филологов в какое-нибудь далекое прошлое, робость патриотов с их постоянной оглядкой на предков, прежде чем решиться на какой-нибудь шаг, сравнение за недостатком самостоятельности. Мы, немцы, после 1870 года страдали от всего этого больше, чем какой-нибудь другой народ. Не мы ли стучались во все двери - к древним германцам, к крестоносным рыцарям, к грекам Гельдерлина, когда нам хотелось узнать, как нужно действовать в эпоху электричества? Англичанин был счастливее в этом отношении: при нем была вся масса его учреждений, оставшихся со времен норманнов - его право, его свободы, его обычаи - и он мог постоянно поддерживать могучую традицию, не разрушая ее. Ему никогда не приходилось устремлять тоскующий взор за грань тысячелетия погибших идеалов. Исторической болезнью все еще страдает и немецкий идеализм и гуманизм наших дней; она заставляет нас строить вздорные планы об улучшении мира и ежедневно порождает новые проекты, которые ставят себе целью основательное и окончательное устройство всех областей жизни и которых единственная практическая ценность заключается в том, что Лондон и Париж оказываются перед лицом более слабых противников.

Исторический взгляд есть нечто прямо противоположное. Он означает знание, уверенное в себе, строгое, холодное знание. Тысячелетие исторического мышления и исследования накопило для нас необъятную сокровищницу не знания - это было бы не так важно, - а опыта. Это жизненный опыт в совершенно новом смысле, - разумеется, если взглянуть на него в той перспективе, которую я здесь наметил. Мы, и немцы больше, чем какой-нибудь другой народ, видели до сих пор в прошлом образцы, по которым следует жить. Но образцов не существует. Существуют только примеры, - примеры того, как развивается, достигает своего завершения и склоняется к своему концу жизнь отдельных людей, целых народов и целых культур, как относятся друг к другу характер и внешнее положение, темп и продолжительность жизни. Мы видим в них не то, чему мы должны подражать, а ход развития, который учит нас, как из наших собственных предпосылок разовьются наши собственные дальнейшие пути.

Учиться таким образом умели и раньше иные знатоки человеческой души, но они учились только на своих учениках, подчиненных, сотрудников, а иной государственный деятель с тонким умом - на своем времени, на своих выдающихся современниках и целых народах. В этом состояло великое искусство повелевать стихиями жизни, основанное на

проникновении в ее возможности и на предвидении ее хода. Это давало ключ к господству над другими. Это человека самого делало роком. Но теперь мы можем предусмотреть ход всей нашей культуры на столетия вперед, как если бы перед нами было существо, в которое мы насквозь проникли взором. Мы знаем, что всякий факт есть случайность, не предвидимая и заранее не установимая, но мы знаем также, имея перед собою образы других культур, что ход и дух будущего, как для отдельного человека, так и для целой культуры, не случайны, что благодаря свободному решению действующих лиц это развитие может, правда, либо завершиться великолепным концом, либо подвергнуться опасности захиреть и погибнуть, но не может быть изменено в своем смысле и направлении. Это впервые делает возможным воспитание в большом стиле, познание внутренних возможностей и постановку задач, сознательную подготовку отдельных людей к этим задачам, которые устанавливаются на основании фактов, а не каких-то "идеальных" абстракций. В первый раз мы усматриваем, как факт, что вся литература идеальных "истин", все эти благородные, благодушные, вздорные замыслы, проекты и решения суть нечто вполне бесполезное, что повторялось и во всех других культурах в соответствующие периоды и всегда имело только тот результат, что какой-нибудь маленький ученый в своем углу мог впоследствии написать об этом книгу. И поэтому еще раз: для чистого созерцателя истины, может быть, и существуют, но для жизни никаких истин нет, а есть только факты.

И тут я подхожу к вопросу о пессимизме. Когда в 1911 году я, под впечатлением Агадира, внезапно открыл мою "философию", над европейско-американским миром властвовал плоский оптимизм дарвинистической эпохи. Поэтому, из внутреннего протеста, я в заглавии моей книги сознательно подчеркнул ту сторону развития, которую тогда никто не хотел видеть. Если бы мне пришлось выбирать сегодня, то я постарался бы найти другую формулу против столь же плоского пессимизма. Я меньше, чем всякий другой, считаю возможным к оценке истории подходить с готовыми шаблонами.

Но, действительно, в вопросе о "цели человечества" я - принципиальный и решительный пессимист. Человечество для меня - зоологическая величина. Я не вижу нигде прогресса, цели, пути человечества, кроме как в головах западно-европейских филистеров прогресса. Я не вижу даже никакого духа и уж во всяком случае никакого единства стремлений, чувств и понимания в этой простой массе населения, именуемой человечеством. Осмысленную направленность жизни к некоторой цели, единство души, воли и переживания я вижу только в истории отдельных культур. Это есть нечто ограниченное и фактически существующее, но именно поэтому оно содержит в себе сознательные цели, достижения и затем новые задачи, состоящие не в этических фразах и общих принципах, а в осязаемых исторических целях.

Кто это называет пессимизмом, тот руководится банальной мудростью своего затверженного идеализма. Для него история - шоссе, по которой плетется человечество, всегда в одном и том же направлении, всегда с каким-нибудь философским общим местом перед глазами. Философы давным-давно установили, правда, каждый по-иному, но все же каждый единственно правильно, в каких благородных и абстрактных словесных созвучиях должна быть выражена истинная цель, но для оптимизма требуется еще, чтобы мы все больше приближались к ней, никогда ее не достигая. Достижимый конец противоречил бы идеалу. Если кто-нибудь протестует, то он - пессимист.

Я постыдился бы жить с такими дешевыми идеалами. В них есть трусость прирожденных затворников и мечтателей, которые боятся посмотреть действительности в лицо и в двух-трех трезвых словах поставить себе действительную цель. Им непременно нужны всеобъемлющие принципы, сияющие им из каких-то далей. Это успокаивает тревогу тех, кто утратил способность к дерзновению, к отваге, ко всему, что требует силы действия, инициативы, личного превосходства. Что на них такая книга, как моя, может подействовать уничтожающе, это я знаю. Из Америки мне писали немцы, что она действует, как холодный душ, на тех, кто исполнен решимости быть чем-нибудь в жизни.

Кто рожден для слов и мечтаний, тот впитывает в себя яд из каждой книги. Я знаю этих "юношей", которыми кишат все литературные и художественные кварталы и все высшие учебные заведения; от обязанности быть энергичными их освобождал сначала Шопенгауер, а потом Ницше. Теперь они нашли себе нового освободителя.

Нет, я не пессимист. Быть пессимистом значит: не видеть впереди никаких задач. Я же вижу так много задач еще не решенных, что боюсь, что у нас не хватит для них времени и людей. Наука права находится еще в зачаточном состоянии. До сих пор она была почти только филологией. Политическая экономия вообще еще не стала наукой. История еще только открывает свои важнейшие - для нашей жизни - объекты. О политических, экономических и организационных задачах нашего будущего я здесь не говорю. Но наши идеалисты ищут другого: они ищут удобного мирозерцания, системы, которая обязывает лишь к тому, чтобы иметь убеждение, морального оправдания для своей бездеятельности. Они ведут бесконечные дебаты, сидя в своих углах, для которых они рождены. Пусть они в них остаются.

Что, собственно, следует из того факта, что перед нами не измеряемый тысячами прогресс "человечества", для которого мы сочиняем какую-нибудь программу, не рискуя, что действительность внесет в нее поправки, - а несколько веков фаустовской культуры, исторические контуры которой мы видим?

Пуританская гордость Англии говорит: все предопределено, - следовательно, я должна победить. Другие же говорят: все предопределено и к тому же так прозаично и так далеко от идеала, - следовательно, нет смысла браться за дело. Но таковы уже задачи, еще оставшиеся для нас, людей Запада. Перед людьми действия это открывает величественные горизонты; но, конечно, для романтиков и идеологов, которые не могут осмыслить свое отношение к миру иначе, как сочиняя стихи, рисуя картины, строя этические системы или изживая какое-нибудь торжественное мирозерцание, это безнадежная перспектива.

И здесь я открыто выскажу мою мысль, какой бы крик ни поднялся по этому поводу: у нас переоценивают искусство и абстрактное мышление в их историческом значении. Как ни существенна была их роль в их великие периоды, всегда существовало нечто более существенное. Вопрос о ценности науки поставил Ницше. Наступает время поставить вопрос также о ценности искусства. Эпохи без истинного искусства и философии все-таки могут быть могучими эпохами; этому нас научили римляне. Но, конечно, для идеалистов это есть вопрос жизни и смерти.

Но не для нас. Мне говорили, что без искусства не стоит жить; я отвечаю вопросом: для кого не стоит? Я лично не хотел бы прожить свой век в Риме Марии и Цезаря скульптором, моралистом или стихотворцем, или членом какой-нибудь секты, которая, сидя в своем углу, литературным жестом выражала презрение римской политике. К великому искусству нашего прошлого - ибо современность его не имеет - никто не стоит ближе меня; я не хотел бы жить без Гете, без Шекспира, без древних архитектур; каждое произведение благородного искусства ренессанса волнует меня именно потому, что я вижу его границы. Бах и Моцарт для меня превыше всего; но отсюда вовсе не следует, что необходимо называть художниками и мыслителями тысячи пишущих, рисующих, философствующих обитателей наших столиц. Нам грозит опасность, как бы все эти бессильные, женственные, ненужные "движения" не были приняты за действительную потребность и даже более того - за потребность времени. Я называю это художественно-ремесленным мирозерцанием. Архитектура, живопись и поэзия, как художественное ремесло, религия, как художественное ремесло, политика, как художественное ремесло, даже мирозерцание, как художественное ремесло, - вот что поднимается зловонным туманом над всеми этими кружками и союзами, кафе и аудиториями, выставками, редакциями и журналами. И все это требует не просто терпимого отношения к себе, это притязает на господство, это называет себя немецкой культурой; это стремится указывать пути будущему.

Но даже и здесь я еще вижу задачи, только не вижу людей, - людей, которым они были бы по плечу. Создание немецкого романа есть одна из задач нашего века; до сих пор мы имеем только Гете. Но для романа нужны личности, выдающиеся по энергии и широте кругозора, выросшие среди крупных дел, люди с возвышенным взглядом на вещи и с большим тактом. У нас все еще нет немецкой прозы в том смысле, как есть английская и французская. Все, что мы имеем до сих пор, это - стиль отдельных писателей, который от очень низкого среднего уровня подымается до чисто-индивидуального мастерства. Создать прозу мог бы роман; но сейчас люди практического дела - промышленники, высшие офицеры, организаторы - пишут лучше, основательнее, яснее и глубже, чем все эти литераторы десятого ранга, которые из стиля сделали спорт. Я хотел бы видеть в стране Тиля Эйленшпигеля фарс большого стиля, со всемирно-историческими горизонтами, искрящийся умом, трагический, легкий и тонкий. Это почти единственная форма, в которой в наши дни можно быть философом и поэтом одновременно, не впадая в фальшь. У нас все еще нет того, о чем в свое время мечтал Ницше, - немецкой музыки, подобной "Кармен", исполненной породы и ума, брызжущей мелодиями, темпами, огнем, родоначальниками которой не постыдились бы назвать себя Моцарт и Иоганн Штраус, Брукнер и молодой Шуман. Но наши нынешние акробаты оркестра не способны ни на что. Что когда-то, когда существовало живое искусство, было общепринятой нормой, было тактом жизни, который пронизывал художников, художественные творения и публику и заставлял каждого творить и воспринимать именно так, как это было нужно, так что великие и малые художники отличались друг от друга не строгостью формы, а только глубиной своих концепций, - то теперь уступило место рассудочной схеме, самому презренному, что только может быть. Все, в чем угасла жизнь, строится по схеме. Они строят по схеме личную культуру с теософией и культом великих учителей, личную религию с изданиями Будды на веленовой бумаге, они набрасывают схему построения государства из эроса. Со времени революции они хотели бы строить по схеме сельское хозяйство, торговлю и промышленность.

Эти идеалы нужно разбить вдребезги; чем громче будет треск, тем лучше. Твердость, римская твердость - вот что начинает господствовать в мире. Ни для чего другого скоро не останется места. Искусство? - Да, но из бетона и стали. Поэзия? - Да, но поэзия людей с железными нервами и неумолимой глубиной взгляда. Религия? - Да, но в таком случае возьми свой молитвенник в руки, а не Конфуция на веленовой бумаге, и иди в церковь. Политика? - Да, но политика государственных мужей, а не исправителей мирового порядка. Все остальное не в счет. А главное - никогда не забывать, что мы, люди нашего века, имеем за собой и что перед нами. Другого Гете у нас, немцев, больше не будет, но будет - Цезарь.